

Жизнеописание Хорька

Автор:

[Петр Алешковский](#)

Жизнеописание Хорька

Петр Алешковский

В маленьком, забытом богом городке живет юноша по прозвищу Хорек. Неполная семья, мать – алкоголичка, мальчик воспитывает себя сам, как умеет. Взрослея, становится жестоким и мстительным, силой берет то, что другие не хотят или не могут ему дать. Но в какой-то момент он открывает в себе странную и пугающую особенность – он может разговаривать с богом и тот его слышит. Правда, бог Хорька – это не церковный бог, не бог обрядов и ритуалов, а природный, простой и всеобъемлющий бог, который был у человечества еще до начала религий. Алешковский ставит в своем романе болезненный и очень искренний вопрос: может ли чудовище заслужить божественную красоту при жизни? Правильно ли это, должно ли так быть? И если должно, то кто тогда несет ответственность за боль, причиненную человеком другому человеку?

Роман «Жизнеописание Хорька» был финалистом премии Русский Букер несколько лет назад, сегодня он переведен на немецкий и хорошо известен европейскому читателю.

Своеобразное видение мира, переданное автором через героя, поможет иначе взглянуть на противопоставление Добра и Зла и в финале проникнуться к Хорьку если не любовью, то сочувствием и симпатией.

Петр Алешковский

Жизнеописание Хорька

Не слишком и много лет тому назад, но и не так чтоб позавчера, когда Старгород изобиловал еще людьми остроумными и веселыми, приятная компания разновозрастных мужчин, изгнанная с улицы крепчайшим морозом, собралась в подсобке овощного магазинчика, служившего до исторического материализма городу кордегардией на главной Питерской дороге. Помещеньице было выделено в складском пространстве перегородкой из толстой ольховой фанеры и имело грубо сколоченный сосновый стол и лавки, крашенные коричневым корабельным суриком. Единственное зарешеченное окошечко было замечено веселым морозным узором. В углу топилась буржуйка, сооруженная из двухсотлитровой бензиновой бочки.

Было тепло, уютно и душно... Пристроившись где кто горазд и поскидав пальто и телогрейки, решили обесточить основное помещение за час до закрытия, затворить магазинную дверь на засов и немного отдохнуть с имеющимся на полках чудным портвейном «три семерки», под крючковатый соленый огурец и бочковую капусту.

Три женщины-продавщицы принимали пятерых измаявшихся от зимней стужи и душевного одиночества кавалеров. Женщины были незамужние. Из них одна – выдавшая виды – заведующая Анна Ивановна, другая, что помоложе, лет тридцати, – запевала и анекдотчица Раиса, и совсем еще молоденькая, восемнадцатилетняя, Зойка Хорева с восьмимесячным животом, а потому, собственно, в расчет не идущая.

Некий, правда, старикашка (годам к пятидесяти) – метр с кепкой, или шпенделек, – шустрый, остроумный и веселый, после первого же стаканчика недвусмысленно предложил Зойке дать ему на полкарасика, но опекавшая беременную заведующая цыкнула на охальника по-матерински, и все, оценив юмор, радостно поржали.

Довольно скоро в одном из углов среди ни на что уже иное не годных старичков завязался разговор о политике – двое же счастливцев щегольков помоложе вплотную придвинулись к Анне Ивановне с Раиской.

Общее возлияние под бесценный тост: «Дай бог, не последняя!» – моментально создало тот удивительный настрой, что так любят простые российские люди. Примерно через полчаса на женском конце стола уже тянули «Ой, мороз, мороз». Там, где начались было споры о политике, картинка была иная: самый некрепкий из споривших спал, уткнувши нос в столешницу; второй, выйдя по малой нужде на улицу, загляделся на луну и никак не мог прервать сеанс медитации: покачиваясь и тщетно пытаясь застегнуть уже застегнутую ширинку, он изливал восторг забившейся в конуру магазинной дворянке; шпенделек, как более стойкий и не теряющий подобия надежды, без меры подливая беременной Зойке, упорно и без юмора гундосил: «Зой, а Зой, ты не слоника ждешь?» – «А-а пош-шел ты-а...» – отвечала ему соловая Зойка. Но он вопрошал беспрестанно, с назойливостью хорошо смазанного механизма, так что Зойке пришлось наконец поинтересоваться, при чем же здесь слоник.

– А пощупай у меня между ног, я вот слоника ожидаю, – загоготал довольный шуткой старикашка и почему-то сам полез к Зойке под юбку. Но насладиться поиском не успел – Зойкино платье, да и скамейка под ней, были сильно мокры. – Зоинька, обоссалась? – поинтересовался охальник уже участливо.

Зойка замотала головой – она с трудом понимала, что с ней происходит. Этот же, лапистый, был ей до того противен, что она с размаху махнула рукой по столу, смела стаканы и бутылку на пол и крикнула свое единственное: «А-а пош-шел ты-а...»

Звук бьющегося стекла вмиг вывел Анну Ивановну из состояния нежного умиления, она готова была уже гаркнуть капитанским басом, но что-то в Зойкином лице ей не понравилось.

– Доча, что такое? – подвывая на «ое», осведомилась заведующая.

– Обоссалась... – приставучий шпенделек потянул носом и печально отвесил нижнюю губу.

– Молчи, японский городской. – Анна Ивановна обошла стол, потрогала зачем-то Зоинькину голову, пошептала в ушко и принялась отпаивать холодной водицей. А уж когда стало понятно, что внизу у ней болит – и не проходит, а, наоборот, только накачивает, сомненья Анны Ивановны рассеялись. «Эксперт хренов, – припечатала она, грозно глянув на приставучего. – Воды сошли».

Все дружно начали собираться.

2

Провожали Зойку до роддома той же компанией. Идти было недалеко – каких-то четыре квартала, но мороз разогнал хмель, и только в приемном отделении опять накатила сахарная, чисто портвейная тяжесть. Роженицу сдали матерящейся косорукой санитарке и отправились уже на квартиру к Раисе – допивать.

Зойке же крупно не повезло. Роды случились неблагополучные, с ножным предлежанием. На счастье, профессор Рахлин из Ленинграда, наезжающий в Старгород на областные курсы повышения квалификации, задержался в родблоке допоздна и продемонстрировал мастерское исполнение способа Цовьянова. Зойка, окосевшая от портвейна, слабо реагировала на боль. Ей было, вправду сказать, все равно – ребенка она не хотела. Первый раз у нее был выкидыш, во второй, по совету Раиски, она прыгала с сарая на всю ступню и чуть не окочурилась тогда от боли и кровотечения. Теперь доносила по собственной только глупости – переходила последний срок – и потому сначала даже обрадовалась, уловив конец профессорской лекции, – при тазовых предлежаниях дети зачастую рождаются мертвыми или умирают в первые два-три дня, но, услышав крик младенца, смирилась. Почему-то она была уверена, что этому суждено жить.

Так и случилось. Маленький, синюшный ребенок, рожденный в ночь на четырнадцатое января, выжил и был внесен в церковь на пятый свой день в лютый крещенский мороз Зойкиной матерью, которая и настояла на соблюдении основного православного обряда. Мальчика нарекли в честь бабкиного отца Даниилом, традиционно, как безотцовщине, даровав отчество Иванович.

Детство Даниила Ивановича проходило не то чтоб безмятежно. Сынок был Зойке, в ее восемнадцать развеселых, чистой обузой, и, потому как кончилось молоко – а кончилось оно катастрофически быстро, на третьем месяце, после очередного крутого запоя, – кормить она его принялась крайне бесшабашно: просыпала молочную кухню, порой по пьяни разливала драгоценные миллиграммы по столу, порой просто забывала сунуть в вопящий ротик замурзанную соску. Но мальчуган, несмотря ни на что, рос, привыкал сосать вместо соски большой палец и эту вредную привычку сохранил впоследствии. Маленький жадный ротик потом скривился вдогон за пальцем направо и чуть вниз, глазенки, обычно разглядывающие в таком нежном возрасте ангелов на шевелящихся над колыбелькой воздушных, настороженно блестели, а маленькие оттопыренные ушки уже тогда поразительно четко воспринимали все звуки вокруг, давая команду завопить или затаиться сообразно ситуации. Допустим, если мать приходила уже пьяная и не одна, маленький сначала выдавал отчаянный писк, напоминал о своем существовании, но, почувствовав, что никто им заниматься пока не собирается, выжидающе затихал, принимался обрабатывать палец или вылавливал жеваную марлевую колбаску с хлебом и сосал оттуда какие-то ему одному ведомые кислые жизненные соки. Все же обычно, перед тем как улечься, мать затыкала его галочий зев мерной младенческой бутылочкой, и он наедался на ночь и затихал или, теребя пальчиками пеленку, прислушивался к шорохам на кушетке, к ласковому матерку залетного кавалера; каторги свивальника он не отведал – мать где-то услышала, что свободное пеленание развивает мужскую самостоятельность, и скручивала его туго и крепко, но по грудь.

Утром, после дойки, часам к десяти, появлялась бабка, добравшаяся в город из поозерской деревни. Младенец, услышав ее тяжелые шаги в прихожей, начинал заполошно вопить, предвкушая теплое молочко и купанье в побитом алюминиевом тазу. После, намазанный блестящим вазелином, упеленутый в чистое, он засыпал мгновенно – проваливался в спасительную яму сна, сберегая силы на полуголодную вторую половину дня, когда бабка, отгулював над ним, исчезала. Она боялась дочки. Та могла и прибить по настроению. Тягостно вздыхая, коря только себя, дуру, что умудрилась вырастить этакое идолище, бабка предпочитала испаряться пораньше.

Но однажды задержалась – прибирая по дому, варя обед, стирая белье, не поглядела на часы. Мальчик, при бабке властный и раскованный, обдудонившись, тут же дал о себе знать, и та, вся светясь от умиления, выложила своего «золотенького» на стол. Под холодной струей воздуха ему захотелось еще, и он пустил вверх блестящий фонтанчик – бабка, ловя его руками, смеялась и приговаривала: «Божья роса, чисто божья роса!» – и целовала свои мокрые руки. Затем перенесла его в кроватку, чтобы вновь заменить на столе мокрые пеленки на чистые. Тут-то и ворвалась в дом Зойка, ворвалась злой волчицей и, отпихнув мать, принялась за сына сама, сюсюкая и мотая уже пьянехонькой головой. Ей важно было похвастать перед топтавшимся в прихожей бакенщиком, показать, какая она хорошая и заботливая мать, – в ту пору она не потеряла еще надежды найти постоянного спутника жизни, а бакенщик был сравнительно молод – до тридцати. Но как-то нескладно она взялась, да и мальчонка был еще мокрый, весь в «божьей росе», – худенькое тельце скользнуло из рук и шмякнулось на пол. Весь удар приняла попка – как две ледышки, стукнулись ножки о половицу, и Данилка заверещал, забился, и, конечно, вся вина была свалена на старую, что не вытерла, недоглядела, и вообще, вообще, вообще...

Ни одна косточка даже не хрупнула, только синяки неделю не сходили с зашибленных ягодиц, но, видно, как говорила бабка, какая-то жилка закусилась – ноги впоследствии росли плохо, и он остался заметно коротконог и, как кавалерист, ходил враскорячку.

После той истории бабка наконец-то решилась – в один пригожий денек выкрала внука и увезла к себе в деревню. Там Зойке было его не достать – деревенские бабы не дали б старуху в обиду, а худой молвы, как ни странно, ничего не боявшаяся Зойка боялась. Впрочем, такое положение дел ее даже устраивало – поорав для приличия, она стала наезжать по воскресеньям, а после и совсем прекратила визиты, заглядывая только изредка стрельнуть «до полочки» десятку-другую.

Мальчонка на бабкиных харчах пошел на поправку, но долго еще не сходила с лица диатезная короста; что же до жадности к еде (один из предметов бабкиной гордости) и привычки сосать палец – они закрепились надолго.

Поглощая что давали и что плохо лежало, к пяти годам он был все же очень маленький и до странности молчаливый ребенок. Соседские одногодки были заметно крепче, но, как ни странно, не выносливее. На своих утиных крючках он

умудрялся бегать шустрее сверстников, лихо лазил по сараям, по старым лодкам на берегу, гонял на ржавом самокате или возился в пыли с мохнатыми деревенскими псами, причем в компаниях не верховодил, держался в тени, всегда словно к чему-то прислушиваясь. Тельце его вытянулось, стало гибким, но из-за недоразвитых ног – ступни были маленькие, он за всеми донашивал обувь – выглядело приземистым, как у зверька, а плосковатое личико с кривящимся ртом, снующие блестящие глазки и маленькие оттопыренные уши как нельзя больше подходили к кличке Хорек, производной, конечно, от фамилии.

Бабка души в нем не чаяла, закармливала всякими там конфетками-пряниками, оладьями-пирожками, но занималась им по обычаю мало – либо пропадая на огороде и в хлеву у своей единственной козы, либо добывая пропитание в городских очередях, либо отстаивая молебны в церкви – бабка была набожная. Он рос вольно, большей частью на улице, подражая скорее своим друзьям-собакам, нежели людям взрослым, до которых пока не было ему никакого дела.

4

Случалось, бабка таскала его в церковь. Иногда это было воскресенье, иногда – день на неделе, и внешне он воспринимал посещения как обычные, рутинные вылазки в город за продуктами. В большой краснокаменной купеческой храмине всегда было тепло, темно, и, пока бабка совершала круговой обход, прикладываясь к образам, он терся у свечного ларька, где неизменно получал горку конфеток, печений и маковых баранок. Исполнив ритуал, пораскланявшись со всеми, бабка выуживала его из ларька и вела к «детским» иконам – образам молнией убиенного Артемия Веркольского и к Иоанну и Иакову Менюжским. Каждый раз кто-то из находившихся рядом рассказывал ему их истории – он наизусть знал, как Блаженный Артемий «ужасеся чудного явления Божьей силы и от великого того грома и света молнийного испусти дух» и как пятилетний Иоанн, играя в чижа, ударил нечаянно битой братца и убил его, а после, испугавшись материнского гнева, спрятался в печи, где и задохся от дыма. Он слушал старушек, стрелял от нетерпенья глазами, выискивая укромный закуток, где б мог затаиться и спокойно погрызть полученные у свечного ларька дары. Его постоянная настороженность и полное безразличие к рассказам принимались за внимание. Женщины пускались в разговоры «о детках», а он, клюнув иконки в нижний угол, исчезал и, блестя глазами из полутьмы придела,

молча изучал это не совсем обычное людское скопище. Затаившись, неприметный, маленький, как лягушонок под корягой, он ловил рык дьякона, льющееся струение литургии. Благодаря свежей, молодой голове он легко запоминал непонятные слова, даже не стараясь вникнуть в их смысл.

Когда бабка подводила его к попу на исповедь, он послушно замирал, послушно подставлял под епитрахиль голову, послушно шел затем к причастию, бестрепетно исполнял все, что полагалось исполнить. Бабкины подружки умиленно гладили его по голове, подносили кружку с «теплотой», принимая его удивительную выдержку за редкую среди детей смиренность.

По окончании службы, приложившись к кресту, многие шли за церковную ограду на берег реки. Церковь, как водится, стояла на высоченном, овеваемом ветрами бугре, с которого, по преданию, начался город. Весь здешний район, с деревянным рынком, рыбацкой пристанью, механическими мастерскими, казенными заведениями и присутственными местами дооктябрьского периода, поделенными нынче на загогулистые коммуналки, назывался Холм, или Славянский Холм, или Славно, и не было в Старгороде шпаны задиристей и опасней, чем юные обитатели этого по-пролетарски скученного, не обремененного излишней собственностью района, коих кликали «славенскими» или попросту – «славными».

С высокого холма открывался вид на город, на кремль со щербатой стеной, на торчащие вверх и вниз по теченью реки монастыри – владетели и обереги в далеком прошлом водного въезда и выезда. Теперь их занимали ПТУ № 6 и местный политехнический.

На самом же холме ранее стоял монастырь, основанный святым Андроником «из римлян». Древние кельи не сохранились, и городская Дума возвела на святом месте краснокирпичный пятиглавый гигант, уцелевший в послереволюционной смуте и, единственный из старгородских церквей, не прервавший традиционного хвалословия Господня. На берегу, под собором, на маленьком, не заливанном водой пятачке, лежал святой камень – большой, гладкоокатанный валун цвета сине-зеленого с редкой искрой, явно не местного происхождения. Он не был похож ни на красный пористый здешний известняк, составляющий основу старых церквей и кремлевских башен, ни на моренные валуны с полей, хорошо шедшие в фундаменты, на каменки для бань и старые мостовые.

Камень был инородным, чудесным и святым. По преданию, монах Андроник приплыл на нем из самого Рима, стоя на нем, «аки на плоту древесном». Да и лежал-то он на берегу чуть только выше уровня воды – там, «где ткнулся», и не оброс ни мхом, ни зеленым водорослиным русалочьим волосом, не вращал в землю, а как бы покоился на ней твердо и основательно.

К этому-то вот камню и направлялась обычно процессия старушек по окончании службы. Спускались по растоптанной крутой лестнице, держась за перильца, отдыхая порой на скамеечках, поставленных на нескольких площадках. Оградки при новой власти камню не полагалось, но свечи в рыхлую землю вопреки всем запретам втыкали и жгли извечно; на Пасху клали крашеные яйца, посыпали крестом рис и пшено, поедаемые городскими воробьями.

Осенив себя крестным знаменем, бабка вставала на колени, прикладывалась к камню, заставляла Данилку повторить обряд следом за нею. Затем часто перекидывались обычными фразами типа: «Вот, святой Андроник, узрел римское беззаконие и дивно так поплыл в православную землю».

– Истинно говоришь, милая, такой, как у нас, красоты разве видано? Я вчера стояла, так батюшкины слова, веришь, прямо до сердца прожгли. Уж я плакала, дура грешная: стою, а слезы сами катятся, ну уж так чисто€, так чисто€ на душе...

– Да... батюшка наш – он добрый...

Данилка стоял молча, смотрел в текущую реку (так полагалось подходить – лицом на восход) и совсем их не слушал. Вокруг камня распространялся сладковатый, терпкий запах свежескошенного сена, от воды поднимались прохладные речные испарения. Взор, брошенный сверху вниз, чуть притупленный, суровое, сосредоточенное молчанье – плод его извечной выдержки – вызывали у окружающих умиление, служили бабке лучшей наградой.

Выдержка была в нем и вправду недетская – он, например, никогда не плакал, как бы больно ни случалось ему расшибиться, мало дрался с пацанами, сносил любую дерзость и ребячью грубость, но не отходил, когда ругали, просто замирал, смотрел угрюмо под ноги. Один только раз, когда словами обидели его мать, кинулся он на рослого шестилетку, вскочил тому на спину и зубами

вцепился в шею, в самый загривок. Взрослые разогнали их, но молва окрестила «бешеным», и задевать его с той поры почиталось опасным.

...Пяти с половиной лет, в июле, допоздна наигравшись на улице и проголодавшись, он пришел домой. Бабка лежала на кухне на полу, неестественно подвернув ноги. Угол кухонного столика, бабкин висок и линолеум вокруг головы были в запекшейся крови. Тут же валялась тряпка, стояло ведро с водой – бабка мыла пол и, поскользнувшись, налетела виском на острый угол.

Голова отвалилась назад, застывший взгляд был устремлен куда-то вверх, в отклеившиеся обои.

Он обошел тело, потрогал холодный ноготь, надавил пальцем на щеку, застыл на миг, принюхиваясь, но ничем абсолютно не пахло, прислушался и, не уловив звука дыхания, перешагнул через ее голову, взял со стола краюху хлеба и литровую банку с вечерним надоем, залез с ногами на диванчик, выпил молоко и съел хлеб. Затем принялся смотреть на умершую – молча изучал лицо, руки, грязные босые ноги, в черных трещинах ступни. Потом переключился на стену, на те же обои, что разглядывала стеклянными глазами старая. Так сидел, не выключая свет, не двигаясь, до утра.

С наступлением темноты стосвечовая лампочка на кухне разгорелась сильнее, наполнила все теплом и немигающим светом. Он не чувствовал движения воздуха, не различал уже рисунка на обоях, как слепец, ощущал отдаленное присутствие предметов только кожей лица. Закрытая дверь отсекала от всего дома, но вместе с тем дарила покой, и мертвое тело было естественно, как табуретка, как уют на застывшей плите.

В этой позе застала его соседка, что брала по утрам у бабки молоко, – он сидел на диванчике в кухне рядом с окоченевшей старухой, притаившийся, но, кажется, ненапуганный, и сосал свой неизменный палец. Слезящиеся и припухшие от бессонницы глаза не утратили блеска. Соседка вошла, тихо ступая по тряпичным половичкам. Мальчишка, вероятно, не расслышал ее шагов, зато почувствовал движение воздуха от ее приближения – и, как зверек, вздрогнул от неожиданности и даже слегка покраснел. Ощувив по трепету пальцев, коснувшихся его волос и головы, весь ужас онемевшей женщины, он чуть только повернул лицо и сказал: «Бабка у меня померла», – вынул изо рта палец, повалился на диванчик и моментально заснул.

Деревенские вспоминали об этом случае, косясь на проданный Зойкой за бесценнок дом. Данилку их переживания не волновали – он снова переехал жить в город.

5

Устроить его в детский сад не удалось, и он таскался с матерью на работу. Там была полная свобода – либо играл в подсобке, либо лазил по складу, где разрешали есть любые фрукты, а чаще бегал на пустырях за магазином. По-прежнему его больше интересовали звери, нежели сверстники, – он дружил с собаками, мог часами следить за их пышными свадьбами – вид совокупляющихся псов будил в нем просыпающийся интерес к собственному телу. Он уходил с собаками далеко, но всегда каким-то особым чутьем находил дорогу назад к магазинчику. Еще он наблюдал, как кошка тешится с полузадушенным воробьем, рассматривал тщательно, как, облепленная алчными муравьями, извивается и помирает от их яда многоцветная стрекоза, – никакого садистского сладострастия он не испытывал, просто изучал проявления жизни и смерти. Гонял по помойкам голубей и ворон. Мальчишкам из соседних дворов настрого запрещали с ним водиться, он знал кучу изощренных ругательств, которых будто бы не знали они, – кривоногий, растерзанный, он вызывал опаску у благопристойных родителей. Завидя его, мальчишки кричали: «Криворотый, криворотый, Хорек!» – и он перестал искать их внимания.

Он придумал себе такую игру: ставил банку на банку, отходил назад и кидал камни, стараясь подбить то верхнюю, то нижнюю, в зависимости от поставленной задачи. Скоро научился не делать промахов – глаз у него был точный.

Из этой игры родилась забава посерьезней – затаившись в подсобке, он объявил войну крысам. Он умел замирать и ждал, пока глупые животные не выползут из своих нор, главное было не смотреть им в глаза – ориентироваться по слуху он научился у бабкиной козы. Чуть поводя головой с растопыренными, напряженно слушающими ушами, сжимал он в кулаке тяжелый подшипник – казалось, он спит, чуть приоткрыв глаза. Но вот крыса выбегала на свет, и тогда он неожиданно бросал и редко мазал, – но, чтоб оглушить, надо было попасть точно в глаз, а уж затем добивать палкой. Обычно крыса подпрыгивала, издавала

мерзкий писк и исчезала в дырке в стене или между мешков с товаром. Но все же двух толстых с длинными голыми, наподобие свекольных, хвостами он добил и очень этим гордился.

Женщины в магазине скоро к нему привыкли и перестали замечать. Он не реагировал никак на их брошенные походя ласки, старался не попадаться им на глаза, и это, естественно, их обижало. Анна Ивановна, шествуя из подсобки в магазин, замечала его фигурку, затаившуюся где-то в углу, и, подойдя к прилавку, всегда бросала Зойке: «Твой-то, муделенок, все крыс сторожит».

- А и хрен с ним, лишь бы под ногами не вился, - отмахивалась Зойка.

Он и правда походил больше всего на то, что в народе называют недоделанным, «прихехекнутым» - вечно замурзанный от гулянья по пустырям и помойкам, в потасканном пальтишке или рваном свитерке, в маленьких резиновых сапожках, в шапчонке невообразимого фасона или просто с расхристанной, давно не мытой белесой головой с теми редкими волосиками, что считаются одним из признаков если не дебильности, то уж точно малахольности и малокровия. Питался он как придется. Съедал все до донышка, отваливался от блестящей тарелки и замирал на непродолжительное время, пока не уляжется в набитом животе пища. Затем вставал из-за стола и снова был готов к походам и охоте или затихал где-нибудь на диванчике или в кресле, вперившись в телевизор и сося свой любимый палец.

Материнские постояльцы чаще всего относились к нему как к неодушевленному предмету - редко кто пытался завоевать его симпатию, а если кто и пытался, то получал в ответ лишь заряд холодной ненависти.

Исключением был один дядя Коля - шофер, работавший на большом, тяжелом лесовозе, задержавшийся в Зойкиной квартире дольше других. Дядя Коля, конечно, тоже любил выпить, особенно после тяжелой работы, но Данилка сразу почуял, что выпивка не имела над ним той власти, что над другими, - он и после бутылки водки не превращался в безмозглохрапящее чудовище, не икал, не рыгал в туалете, не пукал беззастенчиво, не орал во всю глотку, не бил ни посуду, ни мать. Дядя Коля сам стирал белье, водил их с мамой в кино на французский фильм с Бельмондо и иногда подвозил из магазина на своей большой машине с железным громыхающим прицепом. Он даже давал ему посидеть за рулем.

Мать при нем стала опрятнее, начала красить губы помадой и иногда прикладывает за уши и под мышки флакончик нестерпимо вкусно пахнущей «Красной Москвы». Дядя Коля привозил из леса дичь – у него было одноствольное ружье, и если он не стрелял сам по пути, с ним делились знакомые охотники и лесорубы. Он больше привозил боровую птицу: глухарей, тетеревов или рябчиков – целую гору маленьких вкусных рябчиков, которых запекал в фольге в духовке. Они ошипывали их с Данилкой – мать не любила этим заниматься.

Как-то он взял мальчика с собой в рейс. Добрались до вырубок только к вечеру, загрузили прицеп липкими сосновыми стволами и провели ночь в бытовке с лесорубами. Самое интересное началось на обратном пути. Один из мужиков увязался с ними в город, и дядя Коля посадил его за руль, а сам, положив в карман ватника горсть патронов, встал с ружьем на подножку снаружи, зацепившись за ручку на дверце широким офицерским ремнем. Машина шла медленно – еле ползла, мотор работал однотонно, без перебоев.

– Тут главное, чтоб звук был одинаковый, иначе они испугаются и улетят, – объяснил мужик.

«Они» были глухари. Они сидели на соснах, на самых верхушках, большие, иссиня-черные, тянули длинные шеи, провожали взглядом чудное гроыхающее существо.

– Они людей боятся, машины не боятся, – опять объяснил мужик.

Дядя Коля на подножке прижался всем телом к кузову, выставив вперед ружье. Вскоре он выстрелил. Большой петух сорвался с ветки, ушел свечой вверх и вдруг начал падать, перевернулся на лету через голову, со всего размаху впечатался в дорогу. Дядя Коля настрелял их тогда с десятков, несколько штук отдал попутчику, остальными одарил Зойкиных подруг – Анну Ивановну, Раиску, даже соседке по площадке достался большой глухарь. Внутри квартиры, над порогом, на дверном косяке он прибил расплавленный веером рябой петушиный хвост. Хвост долго висел там, даже когда дяди Коли не стало. Приняв для сугрева лишка, дядя Коля влетел зимой в незамерзающее болото и утоп в нем – грузеную машину едва вытащили потом тяжелым трактором.

Поездка в лес запомнилась. Сидя в одиночестве дома, ожидая прихода матери, он вновь переживал звуки охоты – любовь к преследованию ради преследования была заложена в нем, видимо, от рождения. Воспоминание доставляло чисто физическое наслаждение: прикрыв глаза, он возбужденно елозил по креслу и теребил свой палец. Той зимой, когда погиб дядя Коля, он уже ходил в первый класс.

6

Учился он плохо. Четыре простых арифметических действия, умение выводить каракули, кое-как читать не без назойливой и нетерпеливой подсказки – вот, пожалуй, и все успехи. Таких подобных маленьких выкормышей пролетарского Славно в каждом классе набиралось трое-четверо – в школе к ним привыкли и старались всеми силами дотянуть до ПТУ.

Он не мог заучить наизусть даже коротенький стишок Лермонтова или Пушкина, и вместе с тем память – осязательно-зрительно-слуховая – была у него необыкновенная. Дорогу до школы он различал (чувствовал) всем телом, запоминая ее, как слепец, по едва воспринимаемым наклонам и подъемам, выщербинкам, поворотам тротуара. Шорохи, шум, шептанья за партами, щебет за окошком, услышанные или подслушанные сегодня, вчера, позавчера, запоминались как музыкальная фраза, всплывали часто не к месту на уроке, и тогда он отключался, превращался в гипсовый слепок пионера-отличника: прямая спина, руки на парте, блестящий взгляд, устремленный сквозь стену в никуда.

Он абсолютно не боялся темноты. Раз в физкультурной раздевалке, в подвале школы, задуманном на случай войны как бомбоубежище, отключили свет. Началась невообразимая паника, давка, и именно он вывел налезавших на стены, тыкающихся в углы перепуганных одноклассников – помимо телесной осязательной памяти у него еще как будто сидел в голове компас. Лучше всего чувствовал себя он на природе, в лесу, куда класс вывозили иногда на воскресенья. Собрать грибов больше, чем Хорек, никому не удавалось.

Необычные свои способности он никогда не выпячивал, даже тщательно скрывал, и в школе тоже держался серой, неприметной мышкой – и не на

подхвате, и не в заводилах, и не в стороне, и вместе с тем абсолютно независимо.

Подобный образ жизни давался нелегко. Он никогда не ходил на дни рождения, но и не звал к себе – кислый запах материнской берлоги на первом этаже не располагал к совместным играм. Он бродяжил по городу – в механических мастерских, на рыбной пристани его узнавали, и только, ни с кем не дружил, летом сам ловил рыбу, сам варил себе уху – котелок, банку со специями, ложку стащив при случае из чьей-то лодки.

В кустах у реки он построил шалаш; натаскал туда старых ватников, мягкой ветоши и спал там, на рассвете отправляясь удить. Мать особо не беспокоилась, знала, что, проголодавшись, обязательно придет домой. Ночью он ходил к Андроникову камню за свечными огарками, жег их, и в шалаше всегда вкусно пахло нагретым воском.

С камнем была связана одна из его тайн, пожалуй самая главная. Однажды ночью он пришел, как всегда, за огарками, собрал их, запихал в карман куртки и вдруг сперва почувствовал, а потом только разглядел, что камень не лежит, как ему положено, а чуть парит над землей. Можно было даже просунуть руку в образовавшуюся щель, но он побоялся – вдруг да придавит. Ночь была светлая, с полной высокой луной, глубокая и безлюдная. Он ощупал камень со всех сторон – пальцы скользили по приятной гладкой поверхности, но ничего особенного не зафиксировали. Тогда он без колебаний залез на него, уселся поудобнее посередине, принял любимую свою чуть скрюченную позу, засунул в рот палец в ожидании чего-то необыкновенного и замер, вслушиваясь в тишину. И скоро всем естественным ощутил необъяснимую легкость. Камень слегка покачивался в ночном воздухе. Было не холодно и не жарко, только спокойно – под ногами текла река, и время стало какое-то иное – казалось, прошла минутка, а уже и начало светать, когда камень снова опустился.

Он слез с него, пригнулся – нет, камень прочно покоился на земле. Редкие искорки мерцали из сине-зеленой глубины – Данилка определенно знал, что ночью камень вместе с ним висел над берегом, но, расскажи он об этом кому-нибудь, его б сочли за сумасшедшего.

Была у него и другая тайна. Казалось бы, неприхотливый в еде (дома ел грубую пищу, все, что придется, как и когда придется), он постоянно думал о недоступной «красивой» снеди, она преследовала его как злое наваждение, истекающая и манящая. Это был не столько голод, сколько расплаемая зависть, бередящая плоть не меньше посещавших теперь позорных сновидений.

Тяга к точеным формам противоположного пола, недостижимым и желанным, томила, и этот экстаз, мечты и одновременно болезненный плотский порыв, как гадкий, липучий недуг, заставляли сердце бешено колотиться. Это была форменная истерика – из памяти выплывали цвета, запахи, вкусовые ощущения, причем все вперемешку: и женственность, и целомудренность, и неотразимая порочность, и полуприкрытый взор уверенной в себе старшеклассницы на танцплощадке, и дикий, пустейший хохот, и запредельный запах аммиака из «девчачьей» уборной на втором этаже – малышняцкой, и окончательная одухотворенность лица умершей бабки, несовершенная, исступленная красота бегущих к финишу на школьном стадионе спортсменов, и совсем уже ни к селу ни к городу громоздящиеся образы остро отточенного ножа, снующего по кожаному правилу, и тугие буруны на реке, и горделивый поворот к солнцу влажного тюльпаньего бутона, и нарисованное на картинке в учебнике ухо с его улиткообразным лабиринтом, с бегущими по нему стрелками, указующими путь звуков, и запахи паленого пера, луговой ромашки, мокрой собачьей шкуры, и другое, другое, другое... до беспредельной бесконечности.

Защита от наваждения была одна – он вжимался с силой в подушку, зажимал глаза, вызывая всё застязие огненные круги, затыкал пальцами уши и так, погруженный в абсолютный мрак, в неживую тишину, свернувшись калачиком под одеялом, отгонял назойливую, пульсирующую бесовщину.

Это, кажется, было связано с матерью. Как не выносил он запах алкоголя, а он преследовал его всегда, всюду в пропитом доме, так не мог и боялся взглянуть на свое орудие, вырастающее в низу живота. Он прекрасно понимал, чем занимается мать с кавалерами за тоненькой занавеской. Почему-то мать всех их любила, всех называла миленькими, возилась с ними и с грязными, и с пьяными в обездвижку, и с хнычущими, и с нагло-приставучими, знающими одну только цель – выпить и нырнуть голышом в кровать; и почему-то все не задерживались долго, как тогда дядя Коля, приходили-уходили, оставляли после себя обмылки в ванной, не брезговали бриться-мыться этими чужими кусочками и драть щетину уже использованными лезвиями. Он вырос среди них, их как бы не

замечая, но мириться с ними не хотел и не мог.

Он придумал себе такую игру – новую и опасную: принялся воровать. В основном его клиентами становились старые материнские ухажеры. У них не много задерживалось в кармане, но все, что там оседало, он виртуозно похищал. Он находил их повсюду: в пивных ларьках, в водочных очередях, на базаре, иногда со всем законным семейством – женой и детьми. Он намечал жертву, вел ее, иногда до дома, иногда выслеживал не один день, изучая повадки, и вот наступал момент – в толчее, в очереди, в набитом автобусе после смены или когда клиент был пьян после получки. Он мог украсть даже не глядя, отвернувшись от жертвы, от «козла», как он их называл про себя, самым грязным, самым обидным из их же набора ругательством.

В основном это были люди зоны или из того пространства, что ее постоянно питает, – тягловые лошадки, «мужики» из рабочей шелупони, мрачноокие, «опущенные» самой жизнью и охочие только до водки и ласки, которую почему-то должна была подарить им мать или женщины вроде нее – затюканные, безропотные, привычно ожидающие очередного повелителя как несказанной награды.

Он их грабил. А после, если все поворачивалось удачно, еще и наблюдал за ними, жалкими, порой ревущими, матерящимися, скрипящими прокуренными зубами, лишенными спасительной надежды купить себе еще и еще водки, портвейна, пива. Он внутренне веселился, злорадствовал, лицом, как всегда, ничего абсолютно не выражая. Он пировал при виде их горя, представлял себе семейную свару, истерику ждущей и лишенной получки жены – хорошо знал, что часто такой мелкий повод вел к драке, и к серьезному мордобою, и к «Скорой», а иногда и на кладбище и в зону – в зону, где был им дом родной, где было их место, их место, их место...

А после бежал в гастроном, накупал себе пирожных, конфет, соков – на свои деньги, мог купить и курицу, и даже две курицы, и масла: и такого, и шоколадного, и торт «Росинка», и «Наполеон», и «Бисквитно-ореховый» – какой хотел. Покупал он все на другом конце города, не на Славном конце, где могли бы опознать, – тут смекалка работала у него отлично, и пешком, обязательно пешком, со специальным рюкзачком, приобретенным для этих целей, укрывающим богатство, шел к шалашу или забивался в подвал брошенной насосной станции, в зависимости от погоды и времени года. Если было тепло, он разводил костер на берегу, в дождь или зимой затапливал старую голландку,

исправно работавшую в его подвале, и кипятил чай и жарил кур на углях, на специальных приспособлениях из толстой проволоки. Там же, в укромном месте, прятал оставшиеся деньги.

Охотился он только по истечении запаса, не покупал вещей – только вкусная еда, то, что можно с удовольствием переварить бесследно и зараз. Но жертву мог опекать, пасти долго, и даже переживания от упущенных возможностей, сам азарт погони будили в нем чисто звериное чувство довольства.

Как ни странно, стоило ему втянуться в поиск, в этот гон по следу, мучительные сны прекратились – он стал засыпать мертвым, счастливым сном, как в младенчестве после купания в побитом алюминиевом тазу. Губы его лоснились от жирной, калорийной пищи, в животе приятно урчало, и сливочный крем и жареная куриная шейка или свиной шашлык на углях дарили блаженное выражение – кривящийся днем рот чуть расправлялся, и слабое сиянье, подобие улыбки, но не улыбка, никак не улыбка, исходило от расслабившегося плоского личика.

8

В восьмом классе к нему подсадили Женьку – вероятно, по принципу: вали до кучи, или – дуру к дураку. Учиться Женька и не пыталась, только таращила свои теплые глазищи на доску: хлоп-хлоп махала ресницами-опахалами, и сего, по неписаному соглашению с классной, видимо, хватало. Женька была из своих – славненских. Черный фартучек всегда был отглажен и чист, и сама Женька благоухала розовым маслом из деревянного болгарского флакончика, что постоянно лежал в кармашке. Мать у Женьки была портниха.

Беспечная, томная, здорово-румяная, плотная, но никак не толстая, Женька могла бы без труда исполнить роль плакатной крестьянки-ударницы. Запросто б могла, кабы не ее утомленная флегматичность. Надо было сидеть за партой – Женька и сидела, надо было бы идти полоть свеклу – пошла б, наверное, полоть, никаких душевных сил на это не истратив.

Ребята Сохатого, самой, пожалуй, опасной группировки «славненских» из шестого ПТУ, вечно сторожили Женьку у школы. С ними она и уходила деловито

– в обнимочку, несла в руке портфельчик, тронь ее кто, могли б и подрезать – мальчики ходили с бритвами и выкидухами и ни от кого это не скрывали.

Женька любила хрумкать яблоки – на этой почве они и сжились. Он таскал яблоки из материнского магазина – Женька их хрумкала (сама так говорила: «Похрумкать, что ль...»), а он смотрел: зубы у Женьки были что надо – крепкие, белые, ровные. Он закармливал ее всю первую четверть. Женька в награду рассказывала, в какое ее водили кино, сколько у Сохатого денег (деньги там водились приличные), кого Сохатый отметелил или кого собираются – отношения в славненских группировках были подчеркнута натянутые и часто переходили в бои местного значения. Хорек слушал, весь внимание, – группа Сохатого интересовала его, если честно, только правом собственности на Женьку, но ничего «такого», что б он ожидал услышать, Женька никогда не доносила, знала правила.

Хорек разглядывал ее со столь откровенным восхищением, что и непробиваемо спокойная Женька не выдерживала:

– Че уставился, нравлюсь, что ли?

– Нравишься, – он не скрывал и не боялся.

– Это хорошо, что нравлюсь, я многим нравлюсь, – безразличность тона вмиг остужала.

Незаметно, медленно-медленно, где-то к весне, когда уже и сил никаких не было больше терпеть, это при его-то выдержке, произошел перелом в самой Женьке. Подозрительно часто она стала спрашивать, подозрительно близко садилась, пододвигала стулья тык в тык, и он получил разрешение (почувствовал – можно!) положить ей руку чуть повыше коленки.

Потом он пригласил ее в кино – действовал по намеченному плану. Но Женька не согласилась.

– Ты че, не надо – они ж не прощают. – То ли выражая сочувствие, то ли констатируя факт (он так и не понял), она примирительно положила его руку себе на колено: – Только в школе, ладно? Ведь убьют, ты их не знаешь.

Она решала проблему просто и незамысловато – ей было не жалко. Хорек не убрал руки – не хотел ссориться, как не собирался и отступить, просто надлежало действовать по-иному. Как – он пока не знал.

9

Интуиция, верхнее звериное чутье, что сильнее слов и доводов рассудка, подсказало выход: выследить, уяснить, с кем предстоит схватиться. Сохатый приходил к школе в сопровождении ординарцев-шестерок – Чиж и Гули. Те много кричали, суетились, кривлялись, своим опасным для окружающих ерничаньем возвышая нарочито медлительного, сонноглазого жожака. Гуля и Чиж «просили займы» у школьников, засвечивали лезвие, нервно пощелкивали выкидухой – Сохатый, понятно, так низко не опускался, сидел в скверике около детских качелей, черные волосы его блестели, как и остроносые ботиночки на скошенном каблуке, курил шикарную «Фемину» – болгарские сигареты в красной коробочке, длинные, тоненькие, с золотым мундштуком, и никогда не оставлял докурить, не давал «дернуть» – молча, изучающе подымал глаза на просившего, молча лез во внутренний карман пиджака, доставал всю коробочку, открывал, ободком от себя, щелкал зажигалкой, – прикрутить тык в тык считалось западло, походило на мужской поцелуй, «петушиные ласки» – последнее оскорбление в мире веселого околосонья.

Женька всегда подходила к нему, как-то застенчиво склонив голову, здоровалась кивком, не обращая внимания на вьющихся вокруг Чижа и Гулю – те могли и ущипнуть, и даже ввинтить лапу под фартук, – она должна была выдержать взгляд, и только потом сам вставал со скамейки и, приобняв Женьку, удалялся. Иногда их стекалась целая орава, с другими девчонками, но всегда Сохатый сидел, по-особому сплевывал под ноги – авторитет его был несомненен, как завершающая точка.

Сила исходила от Сохатого необычная. Хорек, наблюдая из-за гаража, ощущал ее даже в укрытии. Неодолимо тянуло его к скамейке у качелей, и, казалось, палец на руке, да и всю б руку отдал, чтоб посидеть по-свойски молчком с задумчивым Сохатым. Но мгновенный морок отлетал, стоило только вспомнить Женькин шепот: «Ты что, ты их не знаешь...»

Они не таились – тут следить было легко, – они шли, порой занимая весь тротуар, всегда в одном направлении: мимо гаража «Сельхозхимии», мимо рыбной пристани, мехмастерских, бывшей насосной станции (его насосной станции), через пустырь – футбольное поле – к большому девятиэтажному дому, новостройке, заселенной городским начальством, – то, что никто из них не был там прописан, Хорек знал наверняка. Много часов исходил он вокруг дома, буквально проедавая глазом окна, – ленивые люди выплывали из глубины, распахивали форточки, задергивали и раздергивали шторы, поливали цветы, но никто из группы Сохатого ни разу не появился. Он обследовал подъезд: подвал и чердак запирались на навесные замки, причем если подвальную дверь никак было не замкнуть изнутри, то чердачную решетку, отсекающую еще и половину лестничного пролета, как раз легко было затворить с той стороны, просунув руки сквозь прутья. Они могли обретаться только на чердаке.

В соседней типовой башне он легко перепилил дужку замка на чердачной решетке, зашел внутрь. Чердак был пуст, загажен голубями. Из вентиляционных окошек дуло. Единственное подходящее место – куб посередине, лифтовый отсек. Здесь тоже висел замок, но он спилил и его и попал, по сути, в готовое помещение – посередине две лифтовые лебедки на две шахты, по двум стенам на уровне пояса заизолированные, толстые трубы центрального отопления – спертый воздух, цементная пыль, резкий запах машинного масла, лампочка под потолком. В дальнем углу – выход на крышу. Досаждали, конечно, неожиданно включающиеся лебедки, вибрирующий пол, но к таким пустякам легко привыкаешь. Он вышел на мягкую гудроновую крышу. На соседнем доме посреди телевизионных антенн в одиночестве стоял Сохатый, глядел в город.

Плотная фигура, покатые, придавленные плечи, темно-серый, обтекающий пиджак, застегнутый на все пуговицы, руки опущены по швам – на фоне разбеленного неба, где мелкой кистью, ударом, нанесены облака.

Прислонившись к стене, Хорек отчетливо осязал эту глухую статую, впаянную в кирпич среди двух подрагивающих на ветру телевизионных антенн. Пахло ржавым железом и мокрым асфальтом. Никакого щегольства, кричащей нарядности – они отлетели, остались в скверике. Подавленная, мрачная сосредоточенность. Внизу, далеко, мелко, жиденько, зеленым и коричневым стелился город.

Итак, убежище было вычислено, теперь предстояло навеститься в гости с инспекцией. С неделю он примеривался – наконец, прогуляв уроки, с утра, когда отсек явно пустовал, пошел. Решетку скрепляла простая контролька – секундная

работа гвоздем. В отсеке стоял стол, стулья, дырявое кожаное кресло – вероятно, трон властелина, на полу – полосатый матрас, распространяющий кислый запах.

Спрятаться не составляло проблемы – строители побросали на чердаке доски, ящики от краски, две большие бочки с засохшей побелкой, заляпанные козлы, горку окаменевших мешков с цементом. Дверь в отсек когда-то имела внутренний замок. На его месте красовалась дыра – отличная, специально подготовленная смотровая щель. В крайнем случае, если придется исчезать моментально, можно притаиться и за углом куба.

Так, собственно, и произошло. Немногим более часа, пока они собирали мзду, пока неспешно добирались, Хорек просидел за бочками. Они вошли, затворились. Их было трое и Женька, и, перетерпев еще минут с десять, он подкрался к глазку. Расположившись у стола на стульях, компания пила портвейн, закусывала сырками и хлебом. Потом, как-то посередине второй бутылки, Сохатый толкнул Женьку в спину: «Валяйте!» – приказал буднично, как сто раз, наверное, приказывал. Женька покорно поднялась. Чиж и Гуля вскочили, не суетясь, подвели ее к креслу.

Пока они возились там, сзади, судорожным паровозиком, Сохатый, закулив длинную «Фемину», брезгливо отвернулся, но удивительно было, что, когда и он приступил, со значением держа в отставленной руке новую сигарету, Женькино лицо также ничего не выражало: будто в классную доску уставилась, лупила она в стенку свои телячьи глазищи и словно готова была сказать: «Хоре-ок, похрумкать, что ль».

Как они допивали, как играли в карты – Гуля уже тасовал колоду для Сохатого, видно, все здесь подчинено было раз и навсегда заведенному ритуалу, – Хорек глядеть не стал. Он отполз от двери, спустился на улицу. Он знал, что сделает дальше. Достаточно было раз посмотреть на Женьку, на ее сиротское одевание: как она отряхивает фартучек от воображаемых пылинок, расправляет складочки, как снова садится к столу и берет в руки стакан, уже в уголке, в сторонке, чтоб не мешать игре. Только почему-то не шел из головы Сохатый – задумчивый, одиноко стоящий на крыше, вззирающий с высоты на город, тот, виденный неделю назад, а не сегодняшней, с гаерской расхлябанностью дергающийся под звук урчащих лебедек около замеревшей, душевно не участвующей никогда ни в чем Женьки.

И что интересно – загоревшись идеей, встав опять на тропу, петляя, кругами подбираясь все ближе к намеченной цели, он потерял интерес к первопричине. В классе отодвинул стул к окну и на удивленный вопрос: «Хоре-ок, ты че?» – ответил однозначно: «А ниче – через плечо не горячо?»

Больше они не разговаривали, друг на друга не глядели. Скоро Женька отсела через проход на заднюю парту к прыщавому тяжеловесному остолопу, распеваящему про свой мотоцикл, что подждал его в деревне, и о том, как будет летом на нем гонять. Хорек не глядел в их сторону, потому как думал о другом.

Он переродился в тень Сохатого, часто прогуливал уроки, крался, вызнавал. Подждал их часами у дома, пока они не выбирались на волю, провожали Женьку, а сами или разбрелись, или, что значительно интересней, шли на дело. Они по-мелкому домушничали – отсюда и деньги, – тянули, что плохо лежит, сбывая товар айсору-чистильщику на вокзале. В марте коланули склад автобазы, причем унесли что-то мелкое, но тяжелое в сумках и рюкзаках. Гуля и Чиж самопалом сняли с лодки подержанный навесной мотор, и Хорек подслушал, как Сохатый орал на них, обещая сделать «гуляй-кишка», – поддерживал дисциплину. Затем, уже в апреле, сработали «Спортмагазин» – тут им помогали еще двое. Сохатый сам не лазил – руководил снаружи. Он пристраивал товар, раздавал премиальные – Хорек зафиксировал и дележку: Сохатый тянет из нагрудного кармана портмоне, отсчитывает с плевочком купюры, запихивает их Гуле в штаны, Чижу – за рубашку.

Где только он не проторчал за это время: подворотни, подъезды, скверы, лавочки-скамеечки, афишные тумбы, кусты, пустые сараи, гаражи, кабины и кузова грузовиков, скользкие обочины – всюду было ему уготовано местечко, неприметное, удобное порой только одним – что все видел, а часто и слышал, и мотал на ус. Побокую пошли карманные затеи – просто не хватало времени, иногда и перекусить не удавалось как следует, но он не страдал, он умел голодать днями, потом, как волк, наверстывая зараз, до икоты, до блаженного бессилья.

Наконец он дождался своего часа. В конце апреля Женька заболела и перестала ходить в школу. Сохатый с компанией по-прежнему подгребали к концу уроков, взимали дань, по-прежнему Хорек просиживал за гаражами на ржавом ведре. И вот однажды они разделились – Гуле и Чижу было что-то приказано, и те, кивнув головами, отбыли в противоположную убежищу сторону. Сохатый, приличия ради, еще посидел немного, но вот поднялся и он.

Может быть, Гуля и Чиж были отряжены за вином в магазин, может, куда-то еще, какая разница – Сохатый шел к дому. Шел один. Хорек выждал немного, три-четыре минуты, и нырнул в подъезд. Проник на чердак, втянул ноздрей какой-то особо колеблющийся воздух. На работающей лебедке дрожала цементная пыль. Бочком подобрался к двери на крышу. Сохатый, как и тогда, стоял близко к краю – манил он его, что ли, – спиной к Хорьку, курил.

Спокойно, отрепетированно (сколько раз проигрывал в мыслях!) ступил кедем на матовый гудрон. Три шага, и силой всего тела толкнул в спину. Вскинув руки, Сохатый полетел вниз ласточкой, только потом заорал. Хорек уже мчался к лестничной площадке. Защелкнул замочек, обтер рукавом – все знал про отпечатки пальцев. Через две минуты был внизу. Спокойно вышел из подъезда, спокойно завернул в проулок, с полчаса простоял за стеной мехмастерских во дворе, на свалке, за ржавым скелетом грузовика. Потоптался на месте, оросил спущенное колесо дрожащей струйкой, потер сухие, зачесавшиеся вдруг глаза. Затем дал кругая, через огороды, с другой стороны, отправился смотреть.

Сохатый упал перед домом – прямо в центр еще не вскопанной, грязной, мокрой по-весеннему клумбы, в примятые, поломанные, белесые прошлогодние стебли. Хорек не подходил близко, руки цепко держали сук скрывающей его яблони, он хладнокровно наблюдал: жильцов, милиционеров, санитаров «Скорой», Гулю с Чижом, съезжившихся, напуганных, утративших вмиг свою взвинченную храбрость. Странно, когда Сохатого переносили на носилки, ему показалось, что налитое, сильное тело было не замерше-схваченным, как у бабки, а студнеобразно, безвольно провисало, его, скорей сказать, перекатили по земле в подставленный брезент.

С Гулей и Чижом он разобрался по-иному. На следующий же день, на вокзале, он углядел их в очереди за пирожками. Хорек позаимствовал пухлый бумажник у гражданина перед ними и перераспределил: документы – Гуле, бумажник с деньгами – Чижу. Сработал элементарно: очередь мешалась с пассажирами, сопела, шаркала ногами, переговаривалась, размахивала руками, протискивала

с руганью чемоданы, никто ни о чем не думал, куда-то стремился, за чем-то стоял, кого-то поджидал – вокзальная неразбериха как нельзя лучше подходила для выбранной мести. Гуля с Чижом жалась к обворованному гражданину, теснимые толстой мадамой с двумя детками, на нее напирала солдат и грузин и некто с мешком, да еще тонко и гадко кричали, что-то не поделив, у лотка впереди. Раз! – он увел бумажник. Два! три! – перепулил Гуле и Чижу. Четыре! – выждав, когда до продавца осталось человек пять-шесть, прикрывшись за носильщиком, приблизился к гражданину, нарочито неумело залез в карман, выдернул поспешно руку – и был таков! Мгновение спустя раздался крик. Звали милицию. Вот Гулю и Чижу уже вели в вокзальное отделение, причем гражданин обворованный, толстая мадама и какой-то еще случайный в беретке, наперебой галдя, уличали, возмущались, клеймили.

Как донесла молва, Гуля и Чиж схлопотали по трехе – дома у них обнаружилось барахло из «Спортмагазина». Заодно замели и айсора-перекупщика. Зная зоновские правила, следовало ожидать, что за «заклад» Гуле и Чижу предстояла несладкая жизнь в колонии для малолеток.

Восьмой класс он окончил, получил направление в ПТУ. Женька уехала в деревню к бабке. Он собирался восстановить шалаш и провести лето на реке, но тут случилась история с курткой.

11

Мать к тому времени как-то особенно рьяно, по-весеннему, загуляла и допилась до «Скорой». Два дня после промываний и инъекций ее крючило, кусок не лез в горло. Красные, пятнистые руки немочно дрожали, как и сама она, выдающая надсадные охи, проклиная водку, напуганная реаниматором, посулившим скорую и верную смерть. Ампулы кордиамина, флакончики с валокордином, аскорбинкой валялись на тумбочке, резкий запах больницы витал по квартире. Мать вставала, чтобы только добрести до ванной – стравить желчь. Там бухала, хрипела, выла и, ополоснутая, нечесаная, в ночной рубашке и ватнике внакидку, шлепала назад к кровати, успокаивала себя срывающимся горловым шепотом: «Ничего, ничего, выходимся». Но так круто, зло ее забрало впервой, раньше хоть с полотенца, хоть колотясь зубами о стакан, она похмелялась, удерживала с трудом алкоголь, и, прижившись внутри, он красил щеки, давал воздух и сил,

поднимал и гнал на работу, и на улицу, и к новой опохмелке-запою, пока хватало денег и здоровья. Тут явно пришла болезнь, и весь май она выкарабкивалась, отказалась от госпитализации, сама, по-народному, принесенным Раиской медом, брусничным листом чистилась и к началу лета ожила, отмякла и только пивом, только пивчишком – для сердца, понемногу, легонько, пробнячком-подкатом входила, кажется, в новый круг невеселой зависимости, где был уже шаг до попрошайничества, обезлички, размытого, несуществующего времени.

В пору болезни Хорек ей требовался как подай-принеси, как свидетель ее постоянных страданий, как живое дыхание под боком и даже превратился в Данилушку, в сыночка, в сынулю, в единственного, в золотенького, но, по мере выздоровления, она все больше суровела, замыкалась, срывалась в крик – нервы у ней были ни к черту, неприбранные и замусляканные, как давно не закалываемые в пучок на затылке космы.

Пиво-пивчишко намыло в дом выставленного семьей экскаваторщика Васю, мечтателя о новой жизни. Приняв, Вася становился приторно навязчив, носил поначалу торты и шоколадки, а после – шампанское и коньяк, и как-то, желая подольститься к обоим, и особо к цедящему сквозь зубы «здрасьте» Данилке, принес японскую парку, что купил за триста рублей в правлении треста на распродаже. Модная, армейского цвета хаки, со множеством карманов и карманчиков, с шелковой плетенкой-поясом, стягивающим талию, с пристежным мехом и капюшоном, на защелкивающихся кнопках и молнии, ездившей как сверху вниз, так и снизу вверх (в два специальных замочка), курточка была верхом мечты. Данилка громко сказал «спасибо», даруя дядьке прощение, не полное, конечно, но частичное, но уже важное для установления отношений, и побежал в прихожую к зеркалу, примерять. Сидела она – полный улет, – язычок с названием на груди, вышитый оранжевой ниткой якорек на плече!

Мать оценила приобретение по-свойски – принялась за Васька€ основательно. Как только его не обзывала: ведь триста рублей – двухмесячная зарплата, и – псу под хвост, ведь триста рублей, на кого? На пацана, ведь триста рублей... Она кричала истошно, сама себя заводила, даже расплакалась под конец.

Такого унижения снести Хорек не мог – как был, в курточке, выскочил на улицу. Ночевал в подвале, на рваном тряпье, а утром снес куртку на рынок и сбыл моментально – азербайджанцы отвалили четыре сотни, и... плакала курточка, осталось одно воспоминанье, да ощущение облегающей тело ласковой теплоты, да изящный заграничный шелест материала стоял в ушах, да... эх, что и

говорить...

К вечеру он вернулся домой. Мать с Васей сидели на кухне за початой бутылкой. На сковородке шкворчала картошка в свином сале. Молча протянул он Васе деньги – триста рублей, молча направился в комнату.

– А-а, погоди, что т-такое? – Мать уже неслась к нему, развернула за плечо, с ходу вlepила пощечину, звонкую и едкую. – Дядя Вася купил ему куртку, а он... Сучонок! Да как ты смел! – казалось, разорвет на куски.

Хорек вырвался, отскочил к входной двери, нырнул в подъезд.

– Ты только приди, только приди, пащенок, – надсаживалась мать вдогонку.

И была ночь, и еще одна в подвале – он топил печь, не закрывал дверцу, глядел в огонь тупо и сосредоточенно. Пламя плясало на плоском личике, на хоречьем его рыльце. Он сидел на чурбаке, сосал палец, сидел маленький, как обрубок, как ненужный еловый комелек.

За два дня он насшибал еще денег, купил ватник, штаны, байковую рубашку, крепкие резиновые сапоги-заколенники, плащ-палатку, топорик, сковороду, складной нож, моток бечевки, упаковку свечей, килограмм соли и килограмм сахара, чаю, пластмассовую бутылку масла, муки, две краухи черного и зимнюю дурацкую шапку с кожаным верхом на случай холодов, три пары вязаных носков, шарф и свитерок с горлом. Получилось многовато, рюкзак тугой, раздутый мотался за плечами.

Рано утром он был на окраине за постом ГАИ, но не голосовал, шел по обочине, шел твердо на север. Знал, куда шел. Треугольные, широко раздувающиеся ноздри, признак хорошей дыхалки и неукротимого характера, с шумом втягивали сырой запах придорожных кустов.

С асфальтовой дороги он свернул скоро, сперва на мокрый большак, потом на разбитый проселок, потом и вовсе срезал по лесу – так было приятней и неприметней. Он не гнал – время теперь было неслучайно, а свобода немерена. Хотел, нравилось ему – шел по дерновой дорожке, кромкой изумрудного овсяного поля, хотел – присаживался в ложине, в продуваемом березнячке или на солнышке в благоухающих сосновых посадках, расстилал ватник, ложился всей грудью, заложив под подбородок руки на мятную хвою, стаскивал сапоги, отдыхал среди бабочек и муравьев на искошенном лугу в одуванчиках и клеверах под нежный шелест всего молодого и зеленого. Ночевал без испуга и в лесу, и в затертых дождями сараях, и в оставленных, полурастащенных домах, среди запахов овчины и сырой золы, но никогда не просился к людям.

Деньги кое-какие у него имелись, но он старался не тратить, разве только на клеклый деревенский хлеб – копеечные закупки; чаще кружил около жилья, подобно своему родственнику хорю, вынюхивал добычу и ночами бесшумно – это доставляло высшее наслаждение – пробирался в курятник, душил тощих, линяющих хохлушек и рывками, низко прижавшись к земле, рвал в лес, далеко, глубоко – приспособленные к темноте глаза сгодились наконец для стоящего дела. Утащив, он совершал бросок километров в двадцать – мокрые кусты хлестали по телу, обжигали холодной росой, но он только насупленно щурил глаза, шаг за шагом отдаляясь от места покражи. Найти его было невозможно – следов он не оставлял, всегда тщательно думал, куда, как ступить, – истаявал, словно дым. Науськанные собаки отказывались брать след, топорщили загривки, испуганно скулили, и часто изощренное воровство приписывалось давно не тревожившему домовому – так ловко, запутанно и непонятно простому уму обставлял он добычу пропитания. Однажды он увел козла и целых двое суток тянул выпуклоглазого старика за собой на веревке, бил глупую скотину палкой по выпирающему крестцу, гнал и гнал без роздыху, чтобы в тихом лесочке у ручейка перерезать горло, как это совершали мужики в деревне с бабкиной животинкой.

Он снял шкуру чулком, особо не церемонясь, зная, что не сгодится, завернул в нее безъязыкую голову, ножки, вереницу синих кишок, алые пузырящиеся легкие, резко пахнущие почки, закопал под елкой рядом с муравейником. Утром к захоронке уже тянулась копошащаяся, трудолюбивая тропа. Мясо он нарубил, уложил в специально подобранный и тщательно отмытый целлофановый мешок из-под суперфосфата, притопил в ручье на ночь. Вода оттянула кровь, выполоскала едкий козлиный запах. Поутру он его присолил, увязал еще и в рогожный мешок, приторочил сверху рюкзака. Ночью запек в угольях сердчишко и язык – в дорогу, а печенку, слегка только прожаренную, кровоточащую, съел

сразу, как первое лакомство.

Через две ночевки, когда кончился ливер, а мясо крепко просолилось, он соорудил шалаш из ольховых ветвей, порезал мясо тонкими жгутами и закоптил, накрепко завалив вход, – потратил еще двое суток. Он все тщательно взвесил – идти предстояло далеко, и голодать он не собирался. Действовал он расчетливо и умело, словно не в первый раз, на самом же деле нехитрая процедура всплыла в памяти, где-то подслушанная, где-то достроенная воображением. Мясо получилось цвета давленной черники, твердостью с подошву, как и требовалось.

Запасы он оберегал – пока шел по населенному краю, разживался чужим, – люди много ему задолжали, и он только отбирал долг, но никогда не перебарщивал – маленькая головка, с трудом производившая простые арифметические действия, работала аналитически точно, инстинктивно скупко и целеустремленно.

К июлю, когда отмахал он прилично, лес стал глуше, но только местами, везде попадались выедины вырубок, дурацкие тупиковые просеки, заваленные невывезенным хлыстом и хорошим строевым лесом, искалеченная техника, пустые, покосившиеся вагончики лесорубов, в которых он не брезговал ночевать. Не было их – устраивался под елкой, в ямке меж корней, натаскав предварительно лапника, листьев, сухой травы, стелил плащ-палатку, натягивал ватник, если было холодно и сыро – заворачивался в одеяло и засыпал. Ночи стояли белые, так что спал он мало, отдавая дань привычке, – два-три часа; перехватив кой-какой пищи, кемарил, предварительно просушив обувь и одежду у костра, и снова вскакивал – предрассветная свежесть распрямляла незримую пружину в теле, гнала и гнала на север, в истинную глухомань.

Все чаще пересекали путь звериные следы, лосиный помет иногда еще парил, кабаньи лежки на болоте выделялись темными торфяными пятнами, грудями разрытого мха, он слышал ночную возню и похрюкиванье в близкой стороне, но не обращал на них внимания – наличие зверя свидетельствовало об отсутствии человека. Край стал меняться – все больше шел он по шуршащим гарям, заросшим лишайником, беломошником, вощаной брусникой, все ближе подпускала боровая птица. Нападал он и на охотничьи избы, пустые до зимы, – в них позаимствовал еще один котелок-манерку, эмалированную кружку, пополнил запас соли – больше нечем было разжиться, – самый нужный скарб люди предпочитали уносить по домам, подальше от чужого глаза.

Городки и поселки он обходил стороной, чуя их заранее по неистребимому запаху бензина, по вдруг выбивающимся, пересекающим пространство щербатым асфальтовым трассам и линиям электропередачи. Кормили его маленькие деревеньки, убогие, но набитые простой, сытной едой, – только протяни руку. В одной из таких ему крупно повезло, точнее, он выполнил запланированное, просто не знал, где и как повезет, но должно было повезти, он так рассчитал.

Засев у околицы в лопухи, глядел он, как суетятся хозяева крайнего дома. Куда-то они собирались, сновали по двору, что-то относили-приносили, хозяйка снимала с веревки выстиранное белье, цветастые платья и платица, бежала в дом, видно, гладить. Ей помогала дочка лет тринадцати, уже стройненькая, вытянувшаяся, но с не оформившимися пока грудками, с льняными волосами, прыгающими при ходьбе, серьезная, собранная, ласковая и с матерью, и с дико визжащим, носящимся кругами братцем, предвкушающим уже то действие, к которому они готовились.

Сам хозяин, полежав для приличия под машиной, встал, отер масляные руки ветошью, потрепал дочку по щеке, цыкнул на постреленка, встал раскорякой, оттянув от тела руки, – дочка принялась сливать ему из ковшика. Крякая, топчась на месте, он сладострастно и упорно мылся. Хорек заворожено глядел на них, согласных в труде и веселье, и впервые, наверное, отступила точащая зависть и злоба, он ощутил некое блаженство, он как бы был там, с ними, и эта девчушка, и пацаненок, и грозная лишь для порядка мать, и правильный, одетый уже в «деревянный» пиджак с подрубленными полами отец, принимающий из рук дочери широкий цветастый галстук, – они заразили его своим настроением. Что-то у мужика не ладилось, и дочка с хохотом взялась помогать, вязала узел умело и весело, и Хорек вдруг явственно ощутил ее пальчики на своей груди, такие они были сноровистые, маленькие, ловкие. Ему стало не по себе, краска прилила к щекам. Он вжался пониже, к самой земле, к корням лопухов, и тянул носом их свежий запах, и почему-то боялся поднять голову, чтоб не потерять, не перебить присвоенное мгновенье.

И правда, когда он выглянул снова, все уже исчезло, сменилось, как, бывает, на глазах меняется погода, – шла загрузка «газика», тащили какую-то снедь, узелки – мамаша уже покоилась на переднем сиденье, и подносили вещи дочка, и отец, и постреленок – он тоже волок что-то явно ему тяжелое, но нес, гордо выпятив перед собой, покачиваясь на разъезжающихся ногах. Девчонка успела нацепить платице с белыми оборками, как-то сразу превратившее ее в ненавистную школьницу, придавшее тупой строгости, слишком мамашинной,

показной, деловитой серьезности. Он зажмурился: она возникла той, завязывающей галстук, и Хорек успокоился – память, необыкновенно цепкая, сохранила образ, даже ощущение легкости и веселья, и он смотрел уже спокойно, как они сели, захлопнули дверцы и укатили за околицу. Он выжидал долго, как чувствовал нутром: надо, здесь!

До вечера дом стоял пустой. Ночью, когда отбредавшие дневную норму собаки замолкли, он залез в него и обнаружил искомое – длинноствольное ружье двенадцатого калибра, такое же, как было когда-то у дяди Коли, и целый сверток припасов к нему. Веселье весельем, а наконец-то ему повезло, и он представил себе, как огорчится хозяин, как станут утешать его домашние, особенно та, в строгом платье с оборочками, и подавил злость, хмыкнул только и сиганул в окно.

Ноша его теперь тянула килограммов за двадцать, да еще длиннее ружье – он больше нес его, как жердь, в руках перед собой. Зима теперь не страшила, была желанна – только деревья, и дичь, и воздух, и звезды. Высокий, испещренный небесный шатер, ничейный, захвачен был им, присвоен раз и навсегда, как и все, что он хотел по своему разумению присвоить и поместить в кладовку памяти. Почему-то ни мошка, ни комары на него не садились – запах ли был у него особенный или кровь, заговоренная бабкой с детства, но то было благословение свыше, иначе в северном болотном крае жизнь превратилась бы в медленную, сводящую с ума пытку.

Хорек шел, с радостью отмечая, как суровееет климат, он теперь пах водой, холодом, прелью и терпкими болотными травками. Густели облака, и дождь если нагонял, то падал пронизывающим, свирепым потоком, короткими, но яростными зарядами, с молнией и громом. Деревья стали тоньше, ниже, попадалось много вывороченных ураганом – они пускали корни неглубоко, стелили их подо мхом вширь – верный признак не оттаивающей за лето почвы. Все больше становилось болот, а значит, и уток, чирков, куличков, затянутых, погибающих озер – наступал край ручьев, ручейков, речушек, петляющих в низких берегах, с цветастоперым хариусом на донных камнях, со стрекозой над потоком, заросшим смородиной, малиной, ежевикой, непролазным шиповником, забитым упавшим лесом. Кочковатая, в борках только мягко усталая мхом земля глушила скорость – в день отмахивал десять-пятнадцать километров, просчитал шагами. Жилье и вовсе исчезло. С неделю он пробирался звериными тропками и, когда вышел наконец к длинному, извилистому озеру – в незапамятные времена просевшей под грудью ледника земляной котловине, когда узрел на нем чету

лебедей, когда на выходе синей глины у воды различил оленин след, а за ним, чуть сбоку, осторожный кошачий – росомаший, понял, что пришел и если не здесь, то где-то рядом лежит место, о котором мечтал, которое пригрезилось в чаду голландки, в подвале насосной станции, там, далеко, давным-давно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/aleshkovskiy_petr/zhizneopisanie-hor-ka

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)